

Издание прекрасно иллюстрировано. В качестве иллюстраций использованы репродукции картин, гравюр и карикатур не только дореволюционных мастеров, но и работ современных художников. Правда, на картинах нашего современника С.Н. Трошина иногда встречаются фактические ошибки в изображении униформы и других деталей эпохи, но этот небольшой упрёк можно адресовать скорее самому художнику, чем создателям книги.

В заключение отмечу, что, по признанию самих издателей, они «рассматривали сей труд как своего рода памятник немеркнущей славе предков», задуманный в противовес участвовавшим в последнее время работам, на страницах которых «безраздельно господствует французский Император и его битая “великая армия”» (с. 5–6). Думаю, что в основном им удалось справиться с поставленной задачей. Издание «1812 год. Московский календарь» стало довольно заметным явлением среди многочисленной юбилейной книж-

ной продукции и, несомненно, будет полезно не только специалистам-историкам, но и всем интересующимся событиями вечно-славной эпохи 1812 года.

Л.В. Мельникова

Примечания

¹ [Поликарпов Н.П.] Боевой календарь-ежедневник Отечественной войны 1812 года. Ч. 1. Перечень боевых столкновений русских армий с 4 июня по 31 августа 1812 года // Труды Московского отдела Императорского русского военно-исторического общества. Т. 4. Материалы по Отечественной войне. М., 1913.

² Поликарпов Н.П. Боевой календарь-ежедневник Отечественной войны 1812 года (Перечень боевых столкновений русских армий с 4 июня по 31 августа 1812 года). М., 2011.

³ Подмазо А.А. Большая Европейская война 1812–1815 годов: Хроника событий. М., 2003.

⁴ Главнокомандующим в Москве Ф.В. Ростопчин был назначен 17 июля 1812 г.

⁵ Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. М., 2004. С. 609, 499.

«Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода. М.: Новое литературное обозрение, 2012. В 2 т. Т. I. 576 с. Т. II. 496 с.

Языковой материал подобен осадочным породам, а также древесным кольцам: в нём откладываются напластования времени, а исторический анализ позволяет их вскрыть и представить в виде более или менее наглядной картины. Всё это очень хорошо понимают составители и авторы сборника статей, посвящённого «понятиям о России». Так, М.А. Киселёв успешно проанализировал и раскрыл различия в правовом сознании России и Европы, включая даже единоверную Русь Византию. У нас действительно главным в этой сфере было понятие правды – справедливости, которую правитель должен устанавливать в государстве, и практически отсутствовали представления о монархе как о законодателе и о законах как его орудиях. В Европе и Византии справедливость тоже являлась важной категорией монархической власти, но благодаря античному наследию закон считался исключительно значимым инструментом верховной влас-

ти. С усилением светских тенденций и влияния западной традиции в широком смысле этого слова понятие закона актуализируется и в России, а государь начинает восприниматься не только в качестве хранителя правды, но и как законодатель. Однако этот процесс, как и вся европеизация, был «верхушечным»: «низы» продолжали искать правду, болезненно отмечая несоответствие ей формальных, писаных законов. Данное положение сохранилось, хотя, конечно же, не столь явно, до настоящего времени. Тем самым статья екатеринбургского историка, выходя за рамки сугубо академического исследования, вновь заставляет задуматься над «проклятыми вопросами нашего времени».

О том, что закон в Российской империи являлся, в сущности, сухой формой, своего рода псевдоморфозом европейской культуры, лишённым непосредственной связи с национальной жизнью, свидетельствует

и работа Е.Г. Марасиновой. Неоднократное издание на протяжении царствования Екатерины II законов схожего содержания свидетельствовало о сбое в их исполнении. Как известно, попытки кодификации неоднократно предпринимались в течение XVIII в. и всякий раз оказывались тщетными. Исследовательница отмечает также повсеместное игнорирование законов чиновниками, скептическое отношение к юридическим нормам «партикулярного» человека и стоическую веру подданных в милосердие императрицы. Даже для дворян не существовало никакой корреляции между наличием закона, правосудием, гарантированными привилегиями высшего сословия и надеждой на справедливость. Не вскрывая корни данного феномена, легко узнаваемого и в современной жизни России, Марасинова пишет о некоем «новом взгляде» на понятие гражданина. Однако не остаются ли все подобные идеи далёкими от нашего бытия абстракциями, мечтаниями гаршинской *Attalea princeps*?

С.В. Польской утверждает, что в XVIII в. представление о «конституции» длительное время находилось в тени понятия о фундаментальных законах. «Фундаментальным законом, ограничивающим власть монарха в отношении прав подданных», Польской оправданно считает Манифест 18 февраля 1762 г., а также Жалованные грамоты 1785 г. Д.А. Бадалян очерчивает французскую «родословную» весьма популярного среди русских либералов 1870–1880-х гг. выражения «венчать здание». А.Ю. Полунов, анализируя понимание «свободы совести» и «веротерпимости» в России конца имперского периода, приходит к выводу, что риторика К.П. Победоносцева была убедительной по крайней мере для части не только российского, но и западного сообществ.

Г.О. Бабкова, рассматривая статьи о преступлениях против личности в проекте Уголовного уложения Екатерины II, показывает становление в России юридической терминологии. Б.П. Маслов прослеживает рождение и смерть понятия «добродетель» в России, составляя при этом целый ряд различных таблиц. И. Ширле, характеризуя употребление в XVIII в. понятий «третий чин» и «сред-

ний род», установила, что церковнославянизм «сословие» стали использовать в правительственной речи только на рубеже XVIII–XIX вв., наиболее же широко этот термин применялся в России в XIX в.

Э. Лор вопреки устоявшемуся мнению доказывает, что в Российской империи индивид являлся не только подданным, но и гражданином, а самодержавие не было неограниченным даже до 1905 г. При этом Лор отмечает, что если в XVIII в. имперские власти способствовали переселению в Россию иностранных колонистов для освоения степей, то в 1860-х гг. правительство стремилось прежде всего обеспечить приток специалистов в растущую индустрию. По мнению исследователя, реформы Александра II ставили иностранцев в привилегированное положение по отношению к русским и тем самым обесценивали натурализацию. В целом, считает Лор, русское подданство и гражданство были явлениями уникальными и мало сопоставимыми с ситуацией в других странах.

В.Б. Велижев обращает внимание на то, что в русском языке понятие гражданственность имело значение, схожее с европейским словом «civilisation». Оно, как правило, противопоставлялось «варварству», «дикости» и в своей семантике связывалось с городской культурой. Собственно о «цивилизации» в русской периодической печати стали писать уже после начала издания в 1834 г. «Журнала Министерства народного просвещения». Заметную роль в распространении этого выражения в России сыграл С.С. Уваров, а Н.И. Надеждин первым начал обозначать им прежде всего особые культурно-географические общности. Указание на Надеждина как на прямого предшественника Н.Я. Данилевского может показаться не только неожиданным, но и весьма перспективным.

Как показывает Р. Вульпиус, имперские представления о цивилизации/цивизованности сложились в России ещё до распространения самого этого слова. Уже в конце XVIII в., по её мнению, формируется российское имперское самосознание, включая соответствующую идеологию и цивилизаторское мышление. Схожие процессы происходили и в Европе, но Россия

в этом плане на полстолетия опередила Германию.

На высоком теоретическом уровне написана статья О.Б. Леонтьевой. По её словам, убеждение в том, что общество распадается на классы, укоренилось в русской мысли в 1860–1890-е гг. Во многом этому способствовали приверженцы «государственной школы». В 1870-х – начале 1880-х гг. классовое деление утвердилось в социальных науках и в общественно-политическом дискурсе радикальной интеллигенции. Леонтьева рассматривает историю проникновения и утверждения понятия «класс» в исторической науке, в среде западников и славянофилов, отмечая, что последние вместе с народниками трактовали народ не как надклассовую этнокультурную общность, а как демос, принципиально чуждый высшим классам и противостоящий им. Нельзя не согласиться с мнением исследовательницы о том, что славянофильские и народнические историки развивали традиции европейской романтически-национальной историографии первой половины XIX в. К началу XX в. усилиями «исторической» и «государственной» «школы», а также экономистов-народников и «школы Ключевского» представление о классовой структуре общества заняло прочное место в российской общественной мысли, причём утверждение «русской исторической школы» подготовило почву для распространения марксистского подхода к классовому делению общества.

О.Ю. Малинова отмечает наметившуюся в начале XX в. нивелировку европеизированного общества и основной массы населения России, связанную с постепенным ростом социальной мобильности и грамотности, но прежде всего – с политической школой революции 1905–1907 гг. Однако вплоть до 1917 г. водораздел между ними так и не был преодолен в силу как социальных и этноконфессиональных различий, так и фрагментации общественных связей в империи. Малинова признаёт, что не одна Россия сталкивалась с проблемой несоответствия количества образованных людей и их социальной востребованности, что в этом она была подобна многим другим странам, вступившим на путь модернизации. Данный разрыв до середины

XIX в. порождал феномен «лишних людей», но реформы Александра II способствовали количественному и качественному росту образованного слоя и профессионализации умственного труда. Красочная и ёмкая статья Д.А. Сдвижкова посвящена истории понятия «интеллигенция» в России до 1860-х гг.

М.В. Калашников проводит интересный семантико-исторический анализ понятия «либерализм». Создателем либерального политического дискурса он вполне обоснованно считает Наполеона. Однако в 1813–1814 гг. им воспользовался... Александр I, навязавший его Европе во второй половине 1810-х гг. Квинтэссенция же негативных представлений о «либерализме» в русском общественном сознании 1840-х г. содержится... в переписке западников, в частности, в письме, написанном В.Г. Белинским П.В. Анненкову в начале декабря 1847 г. В дальнейшем либерализм «реабилитировали» опять же действия правительства, взявшегося за освободительные реформы. Л.В. Бибикова выявляет отношение к либерализму чинов дореволюционной полиции, консерваторов и социалистов и указывает на различия в его восприятии. При этом если жандармы по психологическому отношению и эмоциональному тону были ближе к консервативным публицистам, то характеристики сотрудников Департамента полиции и охранных отделений напоминали скорее эсеров, а большевики в своих оценках сходились с черносотенцами.

А.И. Миллер прослеживает эволюцию понятия «нация» и связанных с ним смыслов от эпохи Петра I до конца XIX в. Он отмечает, что выражение «народность» вошло в оборот в 1820-е гг. как вариант перевода французского «nation», имело широкое хождение в 1830–1860-е гг. и почти вышло из употребления в 1880-е, когда его вытеснили слова «нация» и «национализм». «Русскую правду» П.П. Пестеля Миллер справедливо считает примером интеллектуальной реакции на резко возросшую на рубеже XVIII–XIX вв. этническую гетерогенность империи. Исследователь чётко и правильно характеризует отличия в восприятии национализма К.Н. Леонтьевым и В.С. Со-

ловьёвым. Кстати, развитие современной борьбы вокруг понятия «нация» во многом повторяет путь, рассмотренный автором в данной статье.

В. Шперлинг, статья которого заметно выбивается из общего ряда работ, помещённых в сборнике, утверждает, что после 1917 г. большевики не стали ренимировать понятие «империя» не из-за его очевидной монархической «нагрузки», а вследствие критики имперского способа властвования и экономической эксплуатации. Тут же он пишет о том, что победа над Наполеоном стала возможной не в последнюю очередь благодаря «особенно морозной зиме» 1812/13 г., хотя, как известно, морозы грянули лишь после Березины – когда с Великой армией было уже покончено (сама Березина стала возможной именно из-за отсутствия холодов, которые затем только «исправили» ошибки П.В. Чичагова). В образе северной России как спящей красавицы Шперлинг усматривает некий «сексизм», приписывая царской России «широкое обращение к образам сексуального насилия», а своему «герою» (купцу Г. Вриони) – «стремление к имперской экспансии с желанием сексуального удовлетворения».

Т.Н. Хрипаченко показывает, как понятия «федерация», «децентрализация», «автономия» использовались в российской социалистической и либеральной публицистике рубежа XIX–XX вв. Весьма интересны его наблюдения, касающиеся фрагментации понятийно-политического поля, при которой одни и те же термины в силу принципиальных расхождений философских концепций могли иметь существенно различный смысл.

В. Толц пишет об интерпретациях в России категории расы, занимавшей важное место в той картине мира, которая была создана в европейской научной и интеллектуальной традиции с начала XIX в. до Второй мировой войны. Как устанавливает автор, в России с середины XIX в. понятие «раса» и его синонимы использовались достаточно широко, а политический подтекст большинства отечественных работ, где так или иначе говорилось о расах, может быть адекватно понят только с учётом общеевропейских дискуссий. Вместе

с тем, хотя основные этапы, через которые прошло развитие расового мышления в Европе и в России, удивительным образом совпадают, российские интеллектуалы предлагали и собственные оригинальные подходы при изучении расовых отличий. В 1870-е гг. среди отечественных исследователей возрос интерес к поискам «прародины арийцев» в пределах империи. Толц убедительно опровергает утверждение о том, будто в России концепция расы играла маргинальную роль. Впрочем, в нашей стране, в отличие от Запада, расизм значительно реже использовался для политической мобилизации масс, и движение с идеологией, подобной германскому национал-социализму, в принципе не могло добиться господствующих позиций. На то, что расовые теории были адаптированы в России гораздо раньше, чем это принято считать, указывает и К. Холл. Однако при этом он пишет о «националистической теории» К.Н. Леонтьева, тогда как Константин Николаевич был убеждённым врагом национализма и считал его одним из главных «орудий всемирного разрушения».

В.О. Бобровников рассматривает последовательно вытеснявшие друг друга в России в XVIII–XIX вв. представления об иноземцах, инородцах и туземцах. По мнению автора, российская власть относилась к ним в целом так же, как и колониальные державы Европы XIX в., что не исключало, конечно, и некоторых существенных отличий. Так, например, русские переселенцы на Кавказе не имели перед туземцами тех привилегий, какими обладали французские колонисты в Алжире. Интересны и замечания Бобровникова о колебаниях политики по отношению к евреям в Туркестанском крае и на Кавказе.

М.Д. Долбилов, исследующий значения понятия «поляк» в имперском политическом лексиконе, отмечает «пугающую лёгкость» перерождения русских в поляков в Западном крае. Любопытен, в частности, его анализ выражения «русский в душе», в котором историк усматривает оттенок отрицания казённости и гипертрофии верноподданства в ущерб чувству народности. Автор полагает, что начиная с 1870-х гг. происходило посте-

пенное вымывание из данного понятия заострённых, жгучих значений, связанных с политической нелояльностью. Это, вне всякого сомнения, свидетельствовало об определённых успехах политики Российской империи в «польском вопросе» в тот период.

Очерк С. Гольдина о религиозных, социальных, культурных, политических, расовых и идеологических компонентах понятия «еврей» в Российской империи XVIII–XX вв. отличается взвешенностью и объективизмом. В результате процессов модернизации и ряда правительственных мер евреи как бы «внезапно» появляются на авансцене русской жизни – и как численно заметная группа, и как экономически и интеллектуально влиятельная часть общества. В царствование Александра II из маргинального и экзотического понятие «еврей» превратилось в важное, странно и горячо обсуждаемое. С конца 1870-х гг. оно всё чаще ассоциировалось с революционным движением и нигилизмом, а в 1881–1917 гг. в евреях нередко видели угрозу существованию России и представителей враждебной цивилизации. В то же время погромы и правительственные ограничения создавали им ореол жертвы, исключавший возможность бес-

пристрастной дискуссии об их положении и месте в российском обществе.

А.Л. Котенко, О.В. Мартынюк и А.И. Миллер составили богатую родословную понятия «малоросс», пришедшего в русский язык из Киева на рубеже XVII–XVIII вв. Тщательно прорабатывая различия в словах «малоросс», «украинец», «украинофил», «русский», «великоросс», авторы высказывают предположение, что скроенное по образцу славянофильства выражение «украинофильство» возникло в связи с делом Кириллово-Мефодиевского общества. Жаль только, что в издании, которое является совместным проектом Германского исторического института в Москве и издательства «НЛО», не оказалось статьи о понятии «немец», столь важном и значимом в семантике этой противоречивой эпохи.

Авторы статей данного сборника достаточно часто ссылаются друг на друга, и у читателя невольно возникает ощущение синергетической связности их работы, превращающейся в общий совместный труд. В перспективе высказанные ими идеи вполне могли бы послужить основой для создания многотомной коллективной монографии.

С.В. Хатунцев

Т.И. Трошина. От Петра I до Сталина. Социальная история Русского Севера (XVIII – первая четверть XX в.). В 2 ч. Архангельск: Поморский государственный университет, 2009. Ч. 1. 288 с. Ч. 2. 215 с.*

Книга архангельского историка Татьяны Игоревны Трошиной вышла небольшим тиражом в провинциальном издательстве, поэтому долго и трудно искала свой путь к читателю. Монография посвящена исследованию социальной истории Русского Севера, которую автор представила как результат взаимодействия природных, политических, демографических и социальных процессов. Трошина пишет о тройном давлении, рождавшем напряжённость северорусского социума: влиянии суровых природно-климатических факторов, диктате устаревших, ставших неэффективными культурных стереоти-

пов, принесённых сюда переселенцами, и деятельности государства, рассматривавшего население как слепой инструмент реализации своей воли (ч. 1, с. 32–33).

В монографии описаны миграционные процессы XVI–XIX вв., благодаря которым сформировалось население Русского Севера, состоявшее из групп, не связанных между собой общностью происхождения и культурного опыта и отличавшихся приёмами хозяйствования, внешним видом и характером (ч. 1, с. 19). Для населения русских северных земель были характерны активность, предприимчивость, способность к индивидуальному

* Текст подготовлен при поддержке РГНФ, проект № 12-01-00065а.